

Сергей Чернов

Живая кровь

Кровь, надо знать, совсем особый сок.
Гёте. Фауст

В ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложились на крыши меховыми шапками. Шёл снег — день за днём.

После сухого лета, сухой осени зима, казалось, возмещала ущерб, засыпая двory, заноса дорожки, облапывая провода. Так и было: утро с пепельно-серым небом; люди, прорубающие пути к расчищенной трактором дороге; и снег — бесшумно падающий редкий снег...

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в пакет капельницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправлялся в местный стационар. Пути было — минут пятнадцать по диким от снега улицам. Люди шли на работу, на рынок. Дети бежали в школу. Мокрый снег скрипел — сладко, как арбузная мякоть.

Пятнадцать минут... Всегда что-то странное творилось в эти пятнадцать минут: они словно были — и в то же время их не было. И вроде бы я кого-то встречал, кивал головой. Взлетал на снежный отвал, когда машины пронеслись мимо. Падал. Что-то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Всё таяло, расплывалось, как сон: яркий — пока не проснёшься; а там — одни клочья... не слепленные, пустые...

Но вот бутылъ физраствора бьёт по колену. Грохочет трактор. Тополя, согнувшись под снегом, сторожат стезю к кособокому крыльцу с голой перилой. Вот он — некогда баня, теперь стационар, — большой белый кирпич с окнами ртутными из-за белизны вокруг. Дверь — ручка обмотана тряпкой — открывается наполовину, и то если поднажать. Коридорчик в два шага. Измочаленный веник. Ещё одна дверь, а за ней — маленькое помещение угловатой буквой «С» на дюжину комнат-палат; окошко напротив входа, в котором лишь краешек стола и спинка стула; жёлтые пятна на потолке; деревянная лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обязательно рвались, и приходилось волочить ноги, дабы они не слетели на полпути); стены — белые больничные стены, и желтеющие санбюллетени, написанные от руки.

Да, из этого можно сделать вывод, представить, как выглядело, но всё будет пустотелым без двух вещей.

Хлорка. Нигде в мире так сильно не пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые батареи. Хлорка была воздухом и богом, требующим ежеминутного поклонения. И вот сейчас, поутру, переступишь порог — он ударит вам в ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщину-адепта, непременно шкрябающую линолеум куском старой рубахи на швабровом древке.

И голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась вновь, подобно далёкой волне. Толстые стены сдирали с них душу, превращая в эхо — неразборчивое и глухое. Казалось, люди эти где-то необычайно далеко. Или глубоко в толще пород, из которой уже не вырваться. Внутри холодило от звуков. Даже от смеха. Нутром чуешь — смех; а до сердца доходит — сухой горох о глухую стену — никчёмность какая-то. И обида. Может, казалось, а может, и вправду была — тонкая эта обида за то, что тут они, старики в пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там, за стеной, — рукой подать! — морозец, и снег, и воздух, которым дышать не передышать... А они замурованы. На веки вечные.

Вот он, тот стационар — звук и запах — более ошутимые, более реальные, чем стены и бугристые полы.

Но всё же была тут одна палата... Внешние звуки в неё почти не проникали. Запах, невыносимый запах хлорки ослабевал, разбиваясь о белую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскрытыми дверками-ртами. Большие окна, чтоб заглянуть в которые, приходилось вставать на цыпочки. Раковина с гусиной шеей стока казалась подвешенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства — из-за потолка или этих стен. Пустота давила. Как ни забивай её людскими телами, она не исчезнет, архимедовым законом её не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый, к которому я был «привязан» росписью в медкарте.

Люди здесь были особые — не молодые, но и не старые (казалось, возраст их подходил

к пенсионному, но только лишь подходил). Одеты по среднему достатку — не так чтобы хорошо, но и не бедно. Но главная их особенность в том, что все они друг друга знали — не по работе, не по соседству — знали по тем местам, где виделись чаще всего. «Ну что, втЭК прошли?» — «На год?.. Ой-ёй-ёй, сколько ж можно!» — «И что колют?.. А мне вот прописали...» — «Посыльной? Перед втЭКом?..» И всё с жаром, с огнём в глазах — среди своих, таких же спецов по лекарствам, врачам, просиживанию в коридорах втЭКа.

Нет, были и такие, кто появлялся единожды — откапываясь после пьянки. Друг на друга похожие — так же смотрели в потолок, так же вздыхали, фальшиво постанывали. А вокруг всегда вилась какой-нибудь друг, приговаривая: «Терпи-терпи. Я Саньчу поставил — как огурчик выйдешь!» Но появлялись они редко, а когда появлялись, разговоры о лекарствах тут же снижались до полужёпота, точно в одутловатых от спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам здесь всегда царило чесоточное оживление. Распаренные от дороги постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили-то, а? — говорил низенький мужчина со стариковскими морщинами и гладко зачёсанными волосами. — Я смотрю — ёлки зелёные! — один! У меня кончается. Я уж хотел иголку сам выкручивать!» Он примерял свою простыню к голому матрацу. Когда он встряхивал простыню, по палате разносился резкий запах его дезодоранта.

«Ой, ерунда-то! — фыркала женщина в очках, полноты такой, что, казалось, не переворачивается с боку на бок, а перекатывается, как шар. — Тут был один... Да ты его знаешь! Федька Смакин! Так он её вытащит, повесит — и домой...» — «Говорят, пожизненную дали», — вставляла женщина с чёрной родинкой на щеке. «Чего ж он по больницам шляется, раз ему дали?» — женщина в очках брезгливо сжимала губы.

А ещё обязательно кто-нибудь вваливался, бешеными глазами метал молнии, швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага... Суёт мне. А я ей: „Ты чего даёшь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя знаю. Милдронат мне прописали, а ты...“ А она: „Ой-ёй-ёй, извините-извините, а мы не поймём чего написано...“ Надают чего попало, а потом машины себе покупают дорогушие!»

И все в палате подхватывали, точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран, извлекая болезненное: и с ними то же, и с ними так же. И лечили не от того, и вену порвали, и цены подскочили, и дешёвое прописали. С негодованием, переходя чуть ли не в гвалт. И тот вдруг обрывался, будто воздух кончился. Наступала глупая тишина, накрывая всё и вся большим тяжёлым одеялом. Они стелили свои простыни,

закатывали рукава — уже с каким-то смущением, стараясь друг на друга не смотреть. Наконец кто-нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с „больничным“ ехала. Народу — селёдка в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги не ходят — а они: „В Бобров, в больницу!“ Народу — тьма... Я вчера к невропатологу сидела. Так там старух как на базаре. Еле успела. С посыльным». И маленький мир дневного стационара оживал, почувствовав родное: «Да-да!.. Старики!.. Сидели бы дома — одной ногой в могиле, а куда-то лезут!.. Молодёжь обнаглела! Место никто не уступит!.. Народу в „больничном“ — битком!..» Пока и эта тема не умирала. Вновь наступала тишина — мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было много. Это так — шесть коек; лежачими занято только пять. На шестой сидели по трое-четверо (а ещё обязательно кто-нибудь стоял), те, кто «докальвались» или просто ходили на уколы. Люди менялись. То лежала на соседней койке женщина — почти старуха, накрашенная так, что казалась страшной. То, на следующий день, уже опухшие ноги торчат сквозь прутья, а дородный их обладатель храпит, как утопающий, глотнувший морскую холодную воду. Но кто бы ни появлялся, в большинстве своём был из тех, «своих», принося новое о врачах, больницах, посыльных.

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на неё никто не хотел — здесь дуло. Сквозняк гулял, иногда распахивая дверь как ударом ноги. Но я не жаловался. Позиция тем удобна, что находился я вне этого маленького круга. Меня не замечали. Заинтересовались мной, только когда поступал. Да ответить, что колю, зачем, внятно не смог. На том и закончилось — пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал... Дни стёрлись, превратившись в расплывчатое «вчера». Люди лежат, задрав рукава. Физрастворы и ампулы — на тумбочках. Входит медсестра с жёлтой стойкой в руках. Медсестра молчалива, как сфинкс, снисходит до односложного: «Пойдёмте. Готовьтесь. Работайте». И уходит, не спрашивая, щиплет ли под иголкой. И вот все привязаны к жёлтым стойкам. Теперь начинается самое тяжкое. Будто плита гробовая падает на каждую койку. Тишина. Молчание. С крана срываются капли, разбиваясь о казённую раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла, идущего от батарей. Но всё так слабо, так ничтожно, что делает тишину ещё твёрже. А молчание душит. Хочется, хочется что-то сказать, но на ум ничего не приходит, а если приходит — растворяется сахаром прямо на языке.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надтреснутым голосом:

— Кровь сдать... Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала... В новый корпус... Там чёрт ногу сломит... Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а мне

прямо с порога: «На сколько записаны?» Теперь, оказывается, и кровь сдать — по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки, — но её не было.

— Звоню следующим днём... Не записали. Чтoб врач... Нужно, — она говорила всё тише. Её и без того худое тело, казалось, усыхало на глазах. — Вот... А тут... Пришла к ней: нет... Направление... В направление... С направлением в регистратуру. Записали еле-еле... А это ж кровь! Её ж каждый месяц. То одно, то другое...

Она вновь умолкла. Но что-то стало пробуждаться.

— Ага! А если надо? Если вот срочно надо?..

— Ой, одни бумажки...

— Тут договоримся — так возьмут. А там... Халаты белые, морды красные...

— Во-во! Мои. У брата двое. Дети...

Тут при слове «дети» оборвалось, точно в это узкое общество вонзилось нечто чужое.

От физраствора было холодно, клонило в дрёму. Кто-нибудь обязательно засыпал. Поглядывали на него всегда с завистью. С завистью слушали сопенье, бульканье. Сон был оправданием, но как же трудно его заработать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегодня высокая, худая, с застывшим свиным лицом), тут же пропадала — поневоле подумаешь: а не привиделось ли? В коридоре изредка что-то гремело; повариха — молодая на вид девушка — боцманским голосом кричала: «Еду брали? А чего расселись?»

Те, кто ходил на уколы, сидели на «общей» койке, краснея от «никотинки». Оторвавшись от пуговицы капельниц, они теряли и членство в этой маленькой группе. И всё же молчание давило и на них. Они тоже страдали, хотели её порвать. Но только хватало робко пошутить: «Вот нашиповали-то — сидеть больно». Никто не улыбался на эту шутку, даже они сами. Лишь изредка кто-нибудь пресно замечал: «Да, действительно...» Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длинных-предлинных минут, они исчезали — вырывались из вакуума в поток старческих голосов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега. А дневной стационар оставался при своём.

Но вот кончилась первая капельница — у полной женщины в очках. Она начинает ёрзать, краснеет, не в силах решить, что ей делать: ждать или бить кулаком в меловой утёс стены. Но медсестра появляется сама. И тут — первое чудо: на халатно-белом её лице... улыбка! Улыбка так слаба и неожиданна, что кажется полной тайн. Медсестра — явление столь незаметное — притягивает общий взгляд. Она необычайно учтива. Успокаивает как ребёнка:

— Сейчас... Потерпите чуть-чуть...

Сдирая пластырь, заботливо спрашивает:

— Больно? — и добавляет, вынимая иголку: — У Кольки руки волосатые. Пластырь тянешь — кричит.

Положила вату. Забросила прозрачный шнур за выступы стойки, понесла её к двери.

— Кричит? — с запозданием спросила женщина в очках.

Но медсестра уже исчезла.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки, и шум голосов, как тихий рокот далёких волн. В коридоре, опираясь на костыли, стоял мужчина с измождённым лицом. Пустая штанина завязана чёрным узлом. Из этого узла он выудил пачку сигарет; глядел на неё, не решаясь, курить ему или нет.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под руку высокого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила его на «общую» койку — сетка прогнулась, угрожающе заскрипев. Вышла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась — поднялась повыше и, заложив руку за голову, едко спросила:

— Чего это ты, а, Коль?

— Уф-ф-ф... О-о... Видеть не могу... Аж с ног...

Голос был с хрипотцой. Редкий чёрный волос отступал на лбу мужчины широкими залысинами. Глаза, поставленные так близко, что казались маленькими, слезились. Кожа с красноватым загаром расходилась морщинами на небритых щеках.

— О, ёлки ж... — он одним пальцем потянул скомканный рукав пёстрой кофты. — Уф-ф-ф...

— А чего ж вам колют? — спросила женщина с родинкой.

На её овечьем лице блеснуло выражение живого интереса.

— А я почём знаю? Была б моя воля... — он хмыкнул. — Вот свиней колют. А я чем хуже? Наколот меня — обросту мясом, тогда поглядите.

— А-а-а... — протянула женщина с родинкой.

Но полная не унималась:

— Чего ты, а, Коль?

Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «раненую» руку, заявил, оправдываясь:

— Видеть не могу... Как увижу, аж пелена. Голова кружится, — он выдохнул, точно вынырнул из пруда. — Уф-ф-ф... Во дела! Не могу... Ещё маленький, помню... Вот когда кровь берут, палец даят — кровь нагоняют. А мне уже страшно. Я в слёзы. Палец даят, а мне кажется: сейчас лопнет! Уже красный-красный... Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, ещё не укололи...» А мне кажется: как лопнет! Как вишня. И всё в крови. А иголка? Мамочки, какие у них иголки!.. Шип... Вот шип стальной! И, кажется, не просто уколот — насквозь, до ногтя... Отворачиваюсь, а никак не отвернусь. Меня успокаивают, а мне только хуже. «Сю-сю-сю». А я визжу во всю глотку... А уколот... так... прям пелена!

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щёлку согнутой руки. Всё он вытянулся, будто стараясь глядеть издали. Женщина в очках прыснула. Та, что с родничкой, хихикнула. Мужчина с прилизанными волосами отстранённо заулыбался. В глазах их что-то заиграло. Точно свежий воздух ворвался в стоячую мглу палаты. Даже уснувший — полноватый мужчина с двойным подбородком — улыбался во сне, словно и там ему сделалось легче дышать.

— Уф-ф-ф... — выдохнул Коля. — Это ж надо! Мучения! Ладно пацану — чего ему? Ну, поревёт, им, детям, полезно... А если... Боюсь её... Хотя таблетку бы придумали, выпил — и не боишься. Красота! А то ведь... Ладно пацаном. Или когда не видят... А то стыдно. И ничего с собой не делаешь... — он потёр подбородок серым от папирос пальцем. — В школе. В старших классах. Уж не знаю, на кой чёрт? Перед военкоматом, что ли?.. Сигнали нас в один автобус. Прямо с уроков. Три класса — сейчас уж не помню... «А», «Б»... Какая там? «В»?..

— С утра «А-Б-В» было, — выручила женщина с родинкой.

— «А-Б-В»?.. Ага... — он ещё раз потёр подбородок, высказывая шуточное недоверие. — «А-Б-В»?.. Ты на улицу-то погляди — везде «А-Б-Ц»! Зи дойчь? Ну, «В» так «В» — какая, к чёрту, разница? Короче говоря, долбаков полный автобус набился. Одни пацаны. Детей-то тогда было вон сколько! Все здоровые детины. Автобус битком. Стоишь — плечо к плечу, и ещё об чьё-нибудь плечо затылок чешешь. Автобус по буграм из стороны в сторону: хоть держись, хоть не держись — один чёрт не упадёшь. Да ещё курить сообразили — втихаря! На нас матюком. Трудовик ехал. Без ноги. Ещё с войны. «Кто курит? Вашу Наташу! Так вас и разедак!» А сам сидит. Ему в толще не встать. Палкой трясёт: «Приедем — бошки всем поотрываю!» А нам одно ржаньё. Кто-нибудь крикнет: «Так это ж асфальт дымится, Сан Палыч!» И опять — как табун дикий. Дураки, чего взять... Ну, привезли в больницу. Бумажки выдали, давай по кабинетам гонять... Такое дело — компания. Одно ржаньё. По поводу и без. Анекдоты какие-то. Друг над другом... А дело такое: своему на зуб попадётся — полгода подкалывать будут... А я как-то... Забыл, что ли... Про кровь... Самому весело... Разогнали — очередь туда, очередь сюда. У лабораторий коридорчик узенький. Эти баночки тоже... Шуток — вагон с тележкой. Я стою, от смеха живот болит. Весело... Плотно вокруг, что впереди, в кабинете, не видно. Зяблик Сашка впереди меня... Смотрю, выскакивает. Мы с ним друзья были. Палец ватой трёт, кровь никак не остановит. Видно, прям капля такая тёмно-красная. Он мне палец к носу. Лыбится: «Во, блин, пулевое

третьей степени». Я увидел — мамочки! — аж ком к горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» — «Да так», — говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, всё колет — от желудка до шеи. И чувствую — кровь от лица отходит... А очередь движется. Я вроде и не иду, а дверь всё ближе. Чем ближе — мне хуже. Дверь открытая, тут тебе и стол, стул. Конвейёр: сядишься — укол — пошёл... Как во сне — уже сажусь. Всё у меня трясётся. Сел, руки на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь увижу — всё, помру... Лаборантка: «Палец!» Я сижу, не пойму. Она: «Палец, палец давай!» За спиной смех... Она руку взяла, подняла над столом; не рука — крыло куриное, силы совсем нет. Смеху тут!.. Кто-то аж на стул облокотился, дышит в затылок. Мне от дыхания этого — внутри расплзается. Шея затекла. Голову еле-еле отвернул, говорю: «Не дыши. Богом прошу, не дыши!» Аж не заметил, как уколола. Точно током ударило. «Всё, — говорит, — вату держи, потом выкинешь...» Я встаю. Прямо вроде встаю. Встал — всё нормально, ничего не кружится. Шаг... Смотрю — ноги! Ёлки-палки — мои!.. И потолок!.. Очухался от нашатыря. Настроение ужасное... Назад ехали — всем смешно. Если б мог, провалился бы. Прям сквозь автобус. И в землю — штопором... Вот такие вот дела!

Он прервался. Разогнул руку и, полуотвернувшись, потёр место укола красным кусочком ваты.

— Уф-ф-ф... — выдохнул сдавленно.

Лицо исказилось, взгляд поднялся в потолок. Глаза слабо блестели, и стало ясно: блеск этот — огонёк озорства, мальчишеского задора. Казалось, один этот взгляд озонирует здешний воздух, делает его приятным, живым. Каждое движение, каждое слово Коли было столь простым и естественным, что какая-то лёгкость передавалась от него всем в палате. И улыбки играли на лицах от этой невероятной лёгкости, от присутствия настоящего, живого.

— Такое дело — кличка прицепилась... А там — выпускной. И школа жизни. Я в Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Вернулся — мужик мужиком. Что там мне эта кровь — тьфу! Унас кровь — масло. Масло машинное. Мы её, не жалея, проливали... Мимо двигателя... А там — училище, работа... Как-то я и не задумывался... Что это? Детское, как прыщи. Да ещё здоровый был. В больницах не лежал, да и попробуй меня загони... Нет, вру! Один раз кто-то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо обследоваться!» Хрена с два! Что я там не видел? Буду ещё лежать, в потолок плевать, а там жизнь идти будет? Нет уж, не пойдёт! А ложить будете — сбегу! В первый же день! «Ой, а вдруг! А вдруг!» А если вдруг — уж лучше дома на диване помирать. Или нет — под забором, чем в этом вот... Здесь не то что день — минуты

быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать — жить страшно. Охи-вздохи одни...

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неуместным. Но из-за всеобщей лёгкости она не смутилась, и её круглое лицо опять засияло улыбкой.

— Да, ерунда. Одно слово — больница... А тут — работа... Второй год или третий. Женился. А там, не помню уж, с какого... То ли все тогда? То ли... Кровь из вены. Я с электричкой, с утра в Бобров. Лето. Прохладно, тихо. На горку поднимаешься — асфальт аж блестит, свет жёлтый-прежёлтый, как после дождя. В автобус сел — людей мало, все молчат... Утром всё по-другому — спокойно, хорошо. И люди другие. Добрага какая-то, мирные — на душе приятно. До больницы доехал — врачи только приходят. Людей мало... Сел... А я это... Уже плюнул — на кровь. Чего она? Так, сопли детские — перерос. Жду спокойно. Ещё люди подтягиваются. Я пропускаю — не к спеху. До автобуса далеко, на рынок ещё успею. Даже мысли ни одной... Стариков трёх пропустил, захожу. Кабинет здоровый, белый, как молоко. Тут шкафчик, напротив кушетка — бабулька сидит, вот как я, с ватой. У окна стол, пузырьки, колбочки. За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсестра — повязка до самого носа, но видно — красивая, стройная, спинка как палка. Я руку вперёд, мышцами играю. А ей хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Ещё одна входит. Эту поманила; обе — за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже смылась. Всюду стекло... Чувствую, пошевелюсь и чего-нибудь тут разобью... Смотрю, входит моя медсестра. С ней человек шесть, девчонки какие-то, почти школьницы. В халатах белых. Маски больничные на них... Медсестра на кушетку села, говорит: «Вон, кровь надо взять. Приступайте». Они меня обступили, с ноги на ногу переманиваются. Я красный весь с головы до ног. Что делать, не знаю. Сердце в висках гремит. Вот блин, думаю, что ж за такое?! Школьницы, ёлки зелёные, школьницы! Это что ж выходит, они у меня кровь будут брать? Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть! Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму трясёт. «Юль, — говорит, — коли». А все худые, маленькие, щуплые, халаты одинаковые — как близнецы. Другая берёт шприц — у меня во рту пересохло. «Работайте», — говорит. Я на неё смотрю: «Да, — говорю. — Работая, а вам зачем?» Медсестра встала над школьниками, как курица над цыплятами. Маску сняла — страшная, как кочегарина тёща! На меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать-разжимать. А иголка будто удлиняется... «Всё, сжимайте». Мне бы, дураку, отвернуться или зажмуриться. Так нет, думаю, отвернусь, подумают — струсил. Зубы

сильнее сжал. И во все глаза на шприц. Девчонка — раз! — иголку под кожу. Чуть не взвыл. Медсестра: «Чего ты делаешь? Не видишь — мимо! Вынай, по новой давай». Я мыгчу, как корова. Школьница иголку вынула — ещё раз! У меня в ушах грохот. Медсестра улыбается: «Вот так бы сразу! Эй ты, давай, следующая». Ещё одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь выкачивать... У меня вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь — половина, густая-густая. И будто чёрная. И ощущение такое в руке... Слышу сквозь пелену: вокруг — шум, гам. Разглядел кое-как: дети бегают, медсестра матерится, с пола что-то поднимают. Я смотрю — ёлки зелёные! — школьницу мою, которая кровь выкачивала. Смотрю — рука. Из вены иголка торчит. Шприц никто не держит. А кровь всё течёт!.. У меня перед глазами поползло, поползло... И чернота! Очнулся — халаты мелькают. Присмотрелся — всё там же, на стуле. Одно это «дитё» мне руку держит, чтоб кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила. Я руку согнул. Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую» обмахивают — медсестра, школьницы, тётки какие-то. Я по стенке, по стенке, чтоб никто не видел... В теле слабость, ноги как два шланга. Мимо всех... До дома как добрался, не знаю. С матом-перематом, наверное. И всё! С тех пор решил: кровь сдавать там, уколы какие — ни-ни! Это ж смерти подобно! Да что, ещё раз не выдержу... Ой, блин!.. Что ж никак не остановится?..

Он глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружины скрипнули, словно хихикнув на своём железном языке. Где-то далеко хлопнула дверь, мимо кто-то прошагал (должно быть, повариха), громко стуча каблуками. Неожиданно выглянуло солнце, бросило косые жёлтые полосы на койки.

— И чего? — жадно спросила женщина с родинкой.

— Чего? — он хмыкнул. — Чего-чего? Жить надо, а не по больницам шляться. Чего! Угрозидило. Сейчас так, ерунда. А вот когда работал...

Он вдруг чихнул — так громко и неожиданно, что все вздрогнули и тут же засмеялись из-за этой оказии.

— Эх-хе!!! О! Правда! — вытер нос ребром ладони. Продолжил, улыбаясь с невольными слезами на глазах: — Тогда, помните, каждый год — День донора. Кровь сдавали. Сейчас уж нет. День донора есть, а доноров с гулькин нос. А что-нибудь взрывается, то гэсы, то аэсы. А тогда все знали: вот День донора, — и много сдавало. Отгул, кормёжка и по сто пятьдесят червивки... Ну, я, естественно, от этого дела отстранялся... Самоотвод, так сказать, брал... Подшучивали. Юрка особенно. Он юморист, всегда как скажет — мы с ним ещё в школе учились... Ну, я как-то, как-то — мимо этих Дней... Один раз чуть не насильно

утянули — дружки, блин. Пришлось набулькать за воротник — а всё, после этого дела нельзя!.. А тут уже Дни донора — вяло, вяло... Времена такие, самим не до себя. Да тут уж — не помню — где-то что-то рвануло? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна кровь!.. Про меня забыли, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка подкатывает: давай, мол, Коль, чего как маленький?.. А у меня момент такой был, надоело всё до чёртиков. Вот, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для людей! Люди там страдают — что я, волосы седые... «Ладно, — говорю. — Поехали!» Решили: следующим днём — как раз попадало: отгул и выходные — три дня отдыху!.. Весь день про отдых думаю. Пол-литру взял у бабки одной — за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку съезжу, сто лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал — в банке. Всё приготовил. Спал как ангел. От одной мысли легче стало: думаю, отдохну хоть раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мелкий. Холодно. Лужи. Стоим, как дураки, носами шмыгаем. Оказалось, кровь сдавать не тут, в избушке на курьих ножках. «Пазик» подкатил. Залезли, автобус пустой, мы да две старушки... Автобус трясёт, картишки с сидений слетают. Бабульки в углу соседям кости перетирают. Бобров — улицы сырые, серые, как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом лабораторию искать — с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом. Юрка как Сусанин — туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, — говорим. — Кровь сдавать. На благо Родины!» А помещенице как новое — а может, не новое, не был-то ни разу, — чисто вокруг. На втором этаже, в углу... Тётка одна: «Так, по одному давайте...» По стенкам тут стулья откидные. Диванчик маленький. Столик — как с нашей мебелиной: двп с ножками. Юрка меня локтём: «Ну как, санаторий?» — «Да, — говорю. — Только жрать не дают». Он меня опять в бок, лыбится: «Чего, первый пойдёшь? Как Гагарин?» Все давай ржать. Меня злоба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду...» Встал, ноги стеклянные. А неприятно — ух-х-х! Я в затылке поскрёб: «А сам-то? Мы за тобой по лестнице мотались. А как дело — за спинами. Депутат! Бабайку испугался?» Все в смех. Дверь открывается, кто был впереди, уже выходит. Юра встал: «Ладно, — говорит. — Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч — поживу пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе... Ага... Ребята анекдоты и про политику — с шутками, с матом. В коридоре старушки, мамыши с детьми — хмурые. А мы ржём. И они тоже — в улыбку, в улыбку... Я сижу, в ушах точно барабан, слов не слышу. Отвечаю невпопад. Юрка «отстрелялся», пошёл в буфет столик занимать... Я себя успокаиваю — ещё хуже. Лучше б первым пошёл... Всё, думаю, сейчас зайду. Выходят — я всё сижу... Ладно,

думаю, ведь не для себя. Я-то чего? Там кровь нужна. Чёрт с ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей... Смотрию, наши почти все. Выйдут, посидят — и кто куда: кто в буфет, кто в нужник, будто ещё и терпеть надо было... Я представил: операции, переливания, а крови нет. А я тут ломаюсь... Успокоился немного... А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу. Комната небольшая. Стол. Кушетка. Штука какая-то, пакет прозрачный висит. Каталка железная каким-то чёртом... Медсестра в белом халатике. Я спокойно прямым шагом на кушетку — полулёжа. Закатал рукав... Решил я железно: всё будет нормально! Нормально, и точка!.. Медсестра за палец меня взяла — вроде из пальца кровь брать... Я на неё смотрю... Что-то, что-то, блин, не так!.. Так сосредоточился — аж не заметил, как колнула... Гляжу на неё — жгутом руку перевязывает... Так-так-так! Маленькая, щуплая, очки на пол-лица. Волосы рыжие в хвосте... Так-так-так! Вспомнилось! Все эти школьницы вспомнились — как под дых ударили. «Так-так-так! — говорю. — Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся: «Узнала? Фашисты чёртовы! — всё у меня клокочет. — Та-а-ак! Садисты!» Она рот разевает, глаза на пол-лица. «Та-а-ак... — говорю. — Тренироваться не на ком? Неудочки чёртовы!» Она вскочила, встала посреди комнаты, как истукан. Руки опустила. Рот разевает, как рыба. И красная вся, точно помидор. «Чего молчишь?!» — от нервов голос у меня осип... Тут — бабах! — дверь хлопнула. Влетает какая-то баба. Здоровая. Халат зелёный. В руках тряпка. Хлобьсь мне этой тряпкой по морде! Я очумел. Она, смотрю, тоже. Дышит как паровоз. Я тоже. Сижу — она стоит. Смотрим друг на друга, как две собаки. И тишина!.. Не знаю, сколько мы в эти гляделки играли. Щека горит, сердце прыгает. Тут она басом: «Ты чего?» Я и ответить — язык не ворочается... «Ты чего устраиваешь, а?» И тряпкой перед носом — кулак как два моих. — Тебя чего, звали? Ты чего тут?» Я вроде и громко, а шёпотом выходит: «Кровь... сдавать...» И вроде на руку — она в жгуте. Баба сердито, как медведь: «А чего устраиваешь? Тебя сюда звали? Чего ты? Кровь сдавать — сдавай! Дебош устраивать! Ты у меня полетишь отсюда!» Я головой мотаю... «Успокоился?» Киваю: да, мол, успокоился. Она развернулась, вышла... Я сглотнул. Чего делать, не знаю. Весь будто каменный. Смотрю, медсестра рядом садится. Шприц берёт... Мне как-то... Щёки у неё влажные, нижняя губа дрожит... Я отвернулся, в стенку взглядом... Короче говоря, взяла она у меня кровь — я и не почувствовал. Только напряжение — виски давило. Слышу, она еле-еле: «Готово». Я даже не понял: чего готово? Встал — она отвернулась. Я постоял немного. Уходить — у двери остановился... Чего сказать,

как?.. «Ну, — говорю, — вы уж меня...» А чего? Чего дальше?.. Она чего-то там возится, будто не слышит. Ну, я и вышел... Вышел. Погано на душе. Неудобно. И тут меня — бабах! — ёлки-палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сделалось. Смотрю, дружков моих нет — в буфете, должно быть. Вроде и посидеть надо, а я туда, к ним, как на крыльях... Тут — так! — что-то знакомое... Халат зелёный... Ёлки-палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в ведро с водой суёт!.. У меня всё поплыло. К горлу подкатило. Я бегом — ноги подкашиваются — дверь, туалет... Как уж меня рвало!..

— Зарекалась ворона, — вставил мужчина с прилизанными волосами.

— Не то слово! — Коля потёр «здоровой» рукой затылок. — Просидел я в туалете. То рвёт, то перестанет. В глазах слёзы. Всё расплывается... Проморгаешься — вроде ничего; две минуты — опять. И сил нет. Выйду — опять схватит. Залезу назад, чуть не на четвереньках... Измучился — мама дорогая! Еле-еле вылез. Кое-как — вниз, к своим, до буфета. Точно сто лет шёл... Прихожу, кореша мои за столом — уже податые, морды красные. Меня увидели — чуть не попадали... Юрка отдышался, слёзы вытер: «Ну ты даёшь! Откуда такой вылез? А мы уж с ребятами твоё выпили. Думали, не вернёшься». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас... «Ну, — Юрка говорит, — тебе только дай!» Тут опять — чуть не грохнулись. Это Ленка моя. Пьяного меня привозили домой, она так орала: «Тебе только дай». — «Ладно, — Юрка, — давай быстрее, автобус сейчас отойдёт». Они бегом. Я еле-еле за ними. В автобус влезли — битком. Юрка меня за руку: «Садись, вон место свободное». Я ему: «Да иди ты!» Поручень обхватил как маму родную — вроде держусь... Тут вон старики — садиться стыдно. Но, думаю, три дня! Три дня! На рыбалку съезжу. И люди... Даже представилось: на кроватях обгорелые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдёт! Дружки ещё смеются: «Тебе только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон, корёжит — так ничего, сдал. Через силу, а сдал... А вы ржёте...» Я с поручнем в обнимку, глаза слипаются. Приеду, думаю, и дрыхнуть. А завтра на рыбалку!.. Если б не эти мысли, и не доехал бы, наверное. До дома дошёл. Дверь отпер. Туфли кое-как стянул. Сплю на ходу — пятками грохаю. Кровать. Упал мешком — не раздеваясь, поверх одеяла. И как провалился... Проснулся — тьма кругом. Тихо, только холодильник дребезжит. Жена ещё с работы не пришла. Лёшка, видать, на улице бегаёт. Лежу на брюхе. Хотел пошевелиться — как в спину вступило! Я аж зажмурился! Пошевелиться не могу! Всё, думаю, парализовало... Внутри всё перевернулось. Никогда я такого страха не испытывал! Один. Темнота. Шевелиться не могу. Паника волнами хлещет!.. Сколько лежал, не знаю. Казалось, в ау

побывал. Столько муки никогда не было... Тут, слышу, дверь открылась. Ленка моя с сумками еле ноги переставляет. Я уж и орать хочу — звук не идёт! Чуть дёрнусь — болью окатывает... Вошла, свет включила, а я на кровати — тут как тут. Силы кое-как нашёл: «Всё, — говорю, — спина...» Она губы сжала, куда-то сбегала... Приходит. Рубашку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем-то растирать. Чувствую, запах какой-то... «Чего это?» — говорю. А она: «Самогон. За холодильником нашла». У меня аж слёзы выступили. «Больно?» — говорит. «Да, — говорю, — очень...» Оказалось потом, в автобусе просквозило... Окошко раскрыто... Да и нервы... Короче, провалился я свои выходные на пузе — встать не мог. А потом ещё неделю не разгибаясь... Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в руках. На подносе шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что-то ещё, что-то забытое, утерянное — ощущение больницы. Всё так же пахло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал снег, а стены были казённо-белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц — их долгое время не замечали, а тут — вот тебе! — одна уже кончилась. Не считали капли, не уловили когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сделалось шумно. Заскрипели пружины коск.

Коля вновь принялся говорить, но шум нарастал, комкая его слова. И глядели уже не на него — на медсестру, точно дети, вернувшиеся в родное лоно.

— Кровь... Как можно? Она ведь через сердце. Может, в ней жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, направо, налево. Просто так. «Проверить!» Ладно для другого, жизнь спасти... А так, мёртвым грузом... Ведь жизнь в ней!.. Больницы... Жизни нет, воздуха нет... И здоровья... Кому тут здоровье нужно? Тут бумажка. За неё тебя и купят, и продадут. Одно вылечат, другое угробят. Лекарств море, чего лечить — придумают. Один врач одно скажет, другой — другое. Одни таблетки, потом другие, третьи. Побочные эффекты, почки. И всё заново, по кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Тут, чтоб лечиться, здоровье нужно как у быка... Сюда — только помирать... А кровь... Может, жизнь в ней. Душа. А мы её... то тут, то там — без дела...

Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку — в другую. Скрипенье коск утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла, ногой захлопнув за собой дверь.

Все глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожидая: вот-вот — и он снова начнёт рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой-то мужчина в чёрном пальто и чёрной, как смоль, ушанке.

— Сидишь? — сердито спросил он. — Прописать решил?.. И брешет!.. И брешет, и брешет! Когда же язык отвалится? Вставай давай.

Он схватил Колю за здоровую руку, пытаясь оторвать его от койки. Коля вяло сопротивлялся:

— Ну ладно тебе... Отстань!.. Ещё не прошло...

— Знаю я твоё «не прошло». Пошли! Там пулемёт стынет!

Коля нехотя встал, подтянул одной рукой штаны. Сделал несколько шагов — робко, как ребёнок. У дверей обернулся:

— Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу — болейте, как вернусь — надаю лещей... Всё, бывайте!

И ушли.

Постояльцы пятой палаты ещё улыбались.

— А кто ж это был-то? — спросила женщина с родинкой.

— Колуха Юрцов. На нашей улице живёт, — ответила полная.

— Чего, пьёт он?

— Да как сказать... Вроде и нет. Полгода-год не пьёт, потом как даст! Бывало, с кулаками к жене. А она такая — обратно ему. Один раз, помню, ходит, морда вся в пятнах — точки какие-то. Оказалось, он с горячего — в крик, а она у плиты. И в морду ему борщом... А так мирно вроде живут. Детей четырёх воспитали. Кто где сейчас — кто в Воронеже, кто в Москве. Младший осенью в армию пошёл...

Она умолкла.

Они лежали. Улыбки ещё были на лицах. Восковые улыбки. Казалось, вместе с Колей исчезли и лёгкость, неподдельность, пульсация живой энергии. Воздух вновь сделался спёртым. Из щелей, из-под коек выползло молчанье — изнурительное, невыносимое. А они лежали. Кожа их

в тусклом свете казалась жёлтой. Глаза — пустыни. Ненужные друг другу люди, связанные лишь общими ранами. Люди, у которых нет ничего своего, кроме этих ран, что они готовы носить их напоказ — с тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственном доступном для них месте — здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но даже среди своих далеки друг от друга, невероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась — кровь у неё давно перестала идти. Она поднялась. Стянула простыню с койки, сунула в пакет. Надевая пальто, отчиталась:

— Всё, побежала. Увидимся ещё.

Слова будто ушли в пустоту.

— Я... Мне вообще... — продолжила испуганным голосом. — Два раза... Прописала два раза капаться. Так я почаще... Раза три-четыре. Так всё как-то...

Она не смогла окончить. Неловкость щипцами тянула из неё что-то заветное. Борясь с собой, она вышла.

Дверь оказалась распахнутой. В палату ворвался гул голосов, как порыв ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы, на волю — к снегу, к низкому небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампула, думал я, последняя капельница. И всё... Никогда не возвращаться. Быть там, в мире живых. Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, усталился на свою бутылку:

— Гляньте, вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..